

**Н**икасио уже привык ходить на кладбище по четвергам. Почему по четвергам? Трудно объяснить. Любой другой день недели годился бы не меньше. Но должно произойти что-нибудь из ряда вон выходящее, чтобы Никасио нарушил раз и навсегда установленный ритуал. Не важно, идет дождь или дует ураганный ветер, здоров старик или у него не ко времени скрутило спину. Иногда он берет с собой зонт, хотя на небе нет ни облачка, потому что зонт заменяет ему трость: Никасио идет вверх по дороге, медленно передвигая ноги, что-то бормоча себе под нос и натужно дыша, как бывает с людьми, которым всего через пару лет стукнет семьдесят.

Никасио любит птиц. Если увидит какую на ветке, или на крыше, или в небе, непременно остановится, чтобы понаблюдать за ней, определить, какой она породы, или припомнить название; а еще

он пользуется случаем, чтобы перевести дух. Потом довольный идет дальше — до следующей птицы.

Честно сказать, птицами он любитесь не всегда. Так как порой настолько погружается в свои мысли или так увлеченно разговаривает сам с собой, что по сторонам не глядит.

Случается, что кто-нибудь из знакомых, увидев его на дороге, останавливает машину и по доброте душевной предлагает подбросить до кладбища или, наоборот, от кладбища до дома, но с каждым разом такие предложения ему делают все реже, поскольку ответ заранее известен. Никасио редко на них соглашается, так как предпочитает одиночество, полное одиночество. Дурачьё! Неужели так трудно понять, что я хочу побыть один?

Обществу людей он предпочитает общество птиц. И мысленно часто повторяет все ту же фразу: неужели так трудно понять, что я хочу побыть один?

Но не только в четверг, а и в другие дни недели, включая воскресенье, Никасио может отправиться на кладбище, чтобы навестить внука. И в таких случаях решение он обычно принимает внезапно. Сидит себе в кресле, слушает радио (допустим), скучает, дремлет, и вдруг на него накатывает тоска. А пойду-ка я, говорит он, проведу Нуко. Так с самого рождения родственники и знакомые ласково называли мальчика. Мариахе, дочка Никасио, возражает: да ведь сегодня еще не четверг! А он отвечает, что это его дело и такие вещи никого, кроме него самого, не касаются.

Если бы он только мог, если бы ему только позволили, он поставил бы прямо под кладбищенским забором палатку, поселился бы там и по целым неделям не возвращался в Ортуэлью: питался бы корешками и дикими фруктами, пил дождевую воду или собирал капли росы. На войне он и не такое пережил, да и потом, в голодное время, тоже. А где недели, там и месяцы, где месяцы, там и годы, которые ему еще отпущены судьбой. Никасио все просчитал. Беда лишь в том, что Мариахе ему этого ни за что не позволит, а он не хочет ее огорчать. Она ведь из кожи вон лезет ради отца!

**Е**ще несколько секунд — и воздушный корабль летит уже над вершинами гор Триано, а потом пропадает в брюхе черной тучи. Где же он? Этот вопрос шепотом задают друг другу все, кто смотрел на самолет, в котором летят пятьдесят детей и которым управляет их учительница. В роли второго пилота выступает учитель из той же школы, он сидит рядом с ней, а школьная повариха снует по проходу между кресел в качестве стюардессы. Она заботится о малышах, гладит их по головке и поет песенки, которые помнит с детства. Но все они мертвые. Поэтому ведут себя тихо, молчат, застыв с открытыми глазами, не моргая. А для Никасио разговоры тех, кто стоит с ним рядом, — нож в сердце. Их комментарии кажутся старику бездушными и лживыми — такую чушь способны нести лишь люди, не пережившие и половины того, что довелось пережить ему. Его душит злорадия, и, чтобы

понапрасну ни с кем не ссориться, он уходит домой. Ворчливо поднимается по лестнице, а войдя в квартиру, дает выход своему гневу и ругается уже в полный голос. Потом залпом выпивает пару стаканов вина из большой оплетенной бутылки, которая хранится за дверцей под раковиной. Но едва на пороге появляется Мариахе, старик кидается к ней, хватая за плечи и повторяет, опять и опять повторяет, что их мальчика в том самолете не было. Он насчитал сорок девять детских головок, рассмотрел все лица одно за другим, внимательно изучил список пассажиров и убедился, что Нуко не поднимался на борт проклятой машины. Потом Никасио добавляет: дочка, только не слушай всей этой пустой болтовни. У нас в городе живет много брехунов. Наш Нуко не полетел туда, откуда нет возврата. Я это знаю наверняка. Только я один и знаю. Поздно уже, говорит Мариахе, опустив голову и словно разглядывая носки своих туфель. Поздно? Да ведь сейчас только начало первого, и мы еще даже не поели. Послушай, отец, в это время ты уже должен спать. Скажи, дочка, а ты больше не будешь слушать их глупые разговоры? Постараюсь, но обещать тебе ничего не могу.

**П**ро Хосе Мигеля, царствие ему небесное, я могу вам сказать только хорошее, и не потому, что хотела бы задним числом представить нашу с ним жизнь как идиллию. Нет, при всем моем к нему уважении, муж не был человеком, которого легко идеализировать. И как мне кажется, для книги, которую вы сейчас пишете, куда интересней был бы какой-нибудь убийца, или злодей, или грабитель банков — короче, такой тип, чьи преступления будят любопытство и приводят читателей в трепет — назовите это как вам угодно.

Я совершенно искренне вам говорю, что не отношусь к числу вдов, которые рисуют свое прошлое исключительно в розовом свете, не желая признать, что в нем были семейные неурядицы, прячут неприятные воспоминания глубоко в душе или стараются начисто стереть из памяти. А у меня нет поводов что-то из нее стирать. Я часто вспоминаю годы нашей

семейной жизни, и при этом в моей душе не всплывает ни капли обиды, ни грамма горечи. Если не верите, поезжайте в Баракальдо и спросите у моей подруги Гарбинье. Она мои слова подтвердит.

Прошло уже много лет, и со временем я убедилась, что была тогда вовсе не такой несчастной, как мне порой думалось, если, конечно, годы и забывчивость, которая потихоньку поселилась у меня в голове, все там уже не смешали. Ведь и такое тоже случается. Жизнь потеряла для меня всякий смысл в мгновение ока — по причине, которую вы знаете, но еще и по другим причинам, которые вам вряд ли будут интересны, однако я не сломалась, я продолжаю жить и дышать, не жалею на здоровье и коротаю свой век тихо и спокойно, от всего отгородившись. Говорю это вовсе не для того, чтобы похвалиться своей стойкостью и мужеством. Если в самые тяжелые часы я не тронулась умом и не рухнула в беспросветную депрессию, то только благодаря любви, которой старался окружить меня муж, хотя он, бедняга, и был страшно неловким во всем, что касалось проявления чувств; а еще благодаря отцу, потому что он — мой отец и потому что ему без меня было бы не обойтись. Из-за него я порой забывала про свое горе или отодвигала свои печали на потом, и еще на потом. Кроме того, одно время утешение давала мне религия — правда, не знаю, насколько оно было глубоким.

**Э**то, конечно, прозвучит странно, говорит Никасио, но не могу тебе не признаться, что, по моему мнению, нашему мальчику с местом в колумбарии все-таки повезло. Мариахе тотчас возражает отцу: если кому с этим местом и повезло, так только тебе. Никасио, чуть подумав, с ней соглашается. Возразить тут нечего.

Дело в том, что его внуку в колумбарии досталась ниша в третьем ярусе, считая снизу, а если подняться по лестнице, то прямо рядом с одной из площадок, так что плита, за которой стоит урна с прахом Нуко, расположена точно на уровне глаз Никасио, и он может разговаривать с мальчиком, словно они одного роста, — не наклоняясь и не задирая голову. Было бы куда хуже, если бы урна попала на более высокий ярус. Как тогда быть? Каждый раз тащить из дому стремянку, чтобы сказать Нуко все то, что обычно нашептывает ему дед?

Большинство плит, закрывающих ниши-ячейки в колумбарии, белого цвета, хотя есть там и несколько черных. У Нуко она тоже белая. На плите выбиты имя и обе фамилии<sup>1</sup>, а чуть ниже — дата смерти (23 октября 1980 года) и возраст (шесть лет). Шесть ему исполнилось незадолго до гибели. Есть там еще и короткая надпись: “Родные обещают своему Нуко вечную память”.

Плиту защищает дверца со стеклянным окошком. Она отпирается ключом. Ключ, должно быть, хранится у Мариахе. Каждый раз, поднявшись по лестнице к нише, Никасио непременно протирает стекло носовым платком. Однажды, через месяц после похорон, старик рассердился на дочь, упорно не желавшую понять цели этих его посещений. Я ведь прихожу не к урне с прахом, а к Нуко, а это совсем не одно и то же.

За стеклом перед плитой устроена узкая полочка, на ней стоят маленькая вазочка с искусственными цветами и гипсовое Святое Сердце. Точно так же украшены и другие ниши, что придает всему в целом некое единообразие. В ячейке у Нуко рядом со Святым Сердцем валяется дохлая муха лапками кверху. Как она могла туда попасть? Загадка. Цветы за стеклом деду не нравятся. Он не знает, кто их туда принес. Дочка? Вряд ли. Скорее это выдумка мэрии, решившей придать колумбарии менее мрачный вид. Но Никасио против цветов не возражает, чтобы ни-

1 В Испании ребенку при рождении дается две фамилии: отца и матери. (*Здесь и далее — прим. перев.*)

кого не обидеть, а еще потому, что с ними мальчику, возможно, не так одиноко. Не нравятся ему также букеты, прикрепленные у ниш снаружи, ужасно не нравятся. Прямо как в цветочной лавке. Старик, как обычно, дышит на стекло, проводит по нему носовым платком, затем приближает к стеклу губы и говорит: я вытащу тебя оттуда, Нуко. Не знаю когда, но вытащу. Можешь не сомневаться.

По дороге домой он видит стайку из шести-семи птиц, которые очень быстро летят в сторону гор. Скворцы, говорит он. И когда птицы скрываются из виду, Никасио продолжает свой путь. Не забыть бы попросить у Мариахе ключ — надо убрать муху.

**В**озвращаясь к разговору о моем муже, не могу не сказать, что характер у него был замечательный. Он всегда старался помочь людям и всегда заботился о своей семье. И удивительно, что при таком могучем сложении отличался невероятной мягкостью и полной безотказностью. Однажды я ему даже сказала: послушай, неужели ты и вправду родился, чтобы плясать под любую дудку? А он в ответ лишь засмеялся. Но, думаю, до него вряд ли дошло, что я имела в виду.

Только поймите меня правильно, Хосе Мигель вовсе не был человеком глупым или недалеким, нет, просто очень добрым и покладистым.

Муж работал на заводе “Нервасеро” в Португалете. И в последнее время очень нервничал, так как боялся потерять работу: компания переживала тяжелый кризис, а из головного офиса каким-то образом просочились слухи про планы начальства провести массовые увольнения. Как Хосе Мигель сам мне

признался, из-за этих страхов его даже мучили ночами кошмары. Он твердо верил в то, что его святой долг — обеспечить нам с сыном пристойную жизнь. Это стало у него навязчивой идеей. Всю зарплату целиком он отдавал мне, чтобы я распорядилась деньгами по своему усмотрению. А я выделяла ему весьма скромную сумму на личные расходы. Может, тебе нужно больше? Скажи честно. Но больше ему никогда не требовалось. Всегда хватало какой-нибудь мелочи в кармане. Моего мужа не привлекали ни бары, ни горы, ни футбол, ни велосипед — ничего из того, что обычно так нравится здешним мужчинам. Единственным его увлечением, которое я, естественно, одобряла, была рыбалка: все выходные он вместе с друзьями проводил в море.

С завода муж порой возвращался такой вымотанный, что ложился на диван и молча слушал мои рассказы о том, что случилось за день. В такие моменты я испытывала к нему что-то среднее между жалостью и нежностью. Как-то раз, вскоре после нашей женитьбы, он на заводе, орудуя каким-то стальным инструментом, сильно порезался. И только потом мы узнали от врача, что это грозило ему потерей руки. К счастью, его вовремя доставили в больницу, и только поэтому руку удалось спасти, хотя один палец остался кривым, а еще сохранился некрасивый шрам.

Хосе Мигель был просто потрясающим отцом. Мой высокий и могучий муж обращался с мальчиком так ласково и бережно, словно боялся его сломать. И всегда очень осторожно поднимал своими

мозолистыми и сильными, будто каменными ручищами. А я буквально таяла от умиления, когда я видела, как он опускает Нуко в кроватку — словно фарфоровую статуэтку, и на прощание целует в лоб или в щечку, но вовсе не потому, что так принято прощаться с ребенком на ночь, не для виду, а с неопишуемой нежностью.

В нашем городе, разумеется, можно было найти парня попривлекательнее внешне и побойчее, но я рада, что прислушалась к родительским советам, когда настала пора делать выбор, а отец сказал мне: знаешь, дочка, ищи себе такого, чтобы человеком был хорошим, вот что главное, и не важно, толстый он, носатый или лысый, важнее всего — уважение и любовь. И теперь могу вам признаться, что на самом-то деле это я женила на себе Хосе Мигеля. В любовных делах он был сущим младенцем. Очень застенчивым и молчаливым — из него слова клещами нельзя было вытянуть. Знаете, он стал моим первым парнем, первым и единственным.

Между прочим, Хосе Мигель даже не подозревал, как мне нравились его шершавые руки. А в наши особенные моменты он давал им полную волю! Крепко сжимал меня, гладил, хотя всегда очень и очень мягко, никогда не грубо, только подушечками пальцев или огромными пальцами, словно покрытыми наждачной бумагой. Поначалу я притворялась, что сопротивляюсь, но только для того, чтобы растянуть удовольствие. Но никогда ему в этом не признавалась и не благодарила, в чем теперь, пожалуй, раскаиваюсь.